

# Плаукарт



СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

Настя Дробышева

18+

# Настя Дробышева

## Плацкарт

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67124166](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67124166)*

*SelfPub; 2022*

### Аннотация

Нулевые. "Акакий Акакиевич" 21-ого века – учитель с социофобией – едет плацкартом из Твери в Петербург. Обитатели вагона – беспардонные тётки, подростки, дамочки с младенцами – доводят интеллигента до точки кипения. Герметичность, сигареты, гитары, дошираки. Галлюцинации. Поездом в нервный срыв.

Содержит нецензурную брань.

# Настя Дробышева

## Плацкарт

Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Поезд дышит ровно, пульс ритмичный, сердцебиение нормальное. Стук в висках Никанорова – сгорбившегося над книгой полустарика с детскими глазами – сливается со стуком состава и утихает... Никаноров – учитель: лоб гармошкой, заношенный синий свитер, заикание, сухие пальцы в чернилах, на среднем – большая красная шишка. Двадцать три часа. За окном пролетает тьма, в стекле отражаются субтильная леди – подросток с виду – и её орущий младенец. Двое пацанов лет двенадцати-четырнадцати играют в подкидного. Их матушка – обтянутая джинсой свинка – хлюпает чаем и листает каталог «Орифлейм». С верхней полки доносится храп, почти рычание, и вздымается живот, обтянутый майкой-алкоголичкой.

На дрожащее приветствие Никанорова, когда тот, мокрый и запыхавшийся, неловко пряча зонтик и паспорт в пакет, прошёл к своей «боковушке», никто не обратил внимания. Поезд тряхнуло, огни тверского вокзала мелькнули напоследок – и уплыли в ночь, Никаноров вытянул шею, желая рассмотреть хоть что-то в окне, и стукнулся головой о полку. С неё, как собачий язык, свесился матрас. Свинка окинула Никанорова брезгливым взглядом. Паренёк постарше гоготнул, младший хохотнул за компанию – и обернулся, чтобы

найти источник веселья.

Он протирает забрызганные очки, приглаживает бесцветные волосы и погружается в чтение. Затасканный том Толстого занимает почти весь столик – Никаноров, не зная, куда деть руки, прижимает локти к бокам и сидит, как цыплёнок табака. Тук-тук, так-так... «Господин этот во всё время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами...» Откуда-то бьёт тонкая воздушная струя, прямо по рёбрам, и Никаноров ёжится. «На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил...» Холодно, неудобно... Кажется, горло саднит... (Он сглотнул) Да, саднит... Простыл, значит... Свитер мокрый, колючий... Завернуться бы в одеяло... (В носу засвербило, и он сделал усилие, чтобы не чихнуть) «...или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал...» Чай!... Никаноров, вытащив из-под сиденья целлофановый пакет, пошатываясь, идёт к проводнице.

Дует из тамбура. Он захлопывает дверь и отдаёт сонной деве в униформе несколько монет, та молча протягивает стакан и бумажный пакетик. Никаноров беспомощно оглядывает титан, и проводница равнодушно поворачивает краник.

Подстаканник греет руки, Никаноров, улыбаясь, пробирается к себе, извиняясь перед чужими ногами и спинами. В отсеке оживление. Смех, дребезжание расстроенной гитары и резкий, химический запах полуфабриката. Никаноров чихает, извиняется, обжигает пальцы кипятком и замирает.

Его место завалено подушками, а на столик брошено тяжёлое одеяло. Прямо на книгу. Он озирается и ищет слова.

Свинка окидывает его знакомым взглядом и вдруг орёт:

– Андрей, убери вещи с чужого места! – никто не реагирует. – Андрей!!! – Никаноров вздрагивает, плачущий младенец от удивления замолкает.

– Окей, – старший паренёк закатывает глаза и раздражающе медленно откладывает гитару. Резким движением смахивает одеяло со столика Никанорова, другой рукой прихватывая подушки. Мать одобрительно хмыкает и возвращается к каталогу. Андрей бросает вещи на нижнюю полку, под недоумённый взгляд subtilной леди, и снова берётся за «Если есть в кармане пачка сигарет...» Младший, хлюпая носом, поглощает вермишель из пенопластовой коробки. Опять поскуливает младенец. Храпит мужчина сверху. Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Никаноров ставит стакан на столик, втискивается на сиденье, пододвигает к себе книгу. Страницы смяты, одна из них надорвана. Скулы Никанорова бледнеют, и желваки начинают судорожно ходить.

«Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор...» Толстой не читается... Он запихивает в себя абзацы, как чёрствую булку... Саднит горло. Хочется спать. Когда уже выключат свет?... Завтра урок по «Крейцеровой сонате»... Нужно перечитать текст. Но можно сделать это утром. Можно? А сейчас – разложить постель, закутаться в одея-

ло и отвернуться к стене. Никаноров вспомнил это сладкое детское ощущение: бесконечный день, полный тревогами и страхами, вечно недовольная мама с свиным носом, сборы и бегодня, тугой рюкзак, в который не лезет толстый Жюль Верн – и, наконец, он, сероглазый улыбочивый Гриша, один, на нижней боковой полке, стаскивает сандалии с потных ног, вытягивается в полный рост и отворачивается; кончиком носа чувствует холодную линкрустовую стенку, закрывает беспокорные глаза – и вот уже вокруг никого, только игривое солнце сквозь ресницы и тук-тук, так-так...

Но свет не выключают... Хорошо, почитаем ещё... Он подпирает кулаком подбородок. «В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет...» Буквы плывут перед глазами: «Д» приехала в реверансе, «Ж» взметнулась бабочкой, «С» укусила себя за хвост; строчка рвётся, как нитка жемчуга, знаки препинания рассыпаются. Он захлопывает книгу. Завтра. Всё завтра. Никаноров снова встаёт, снова вытаскивает из-под сиденья целлофановый пакет и, прихватив пустой стакан, идёт к тамбуру. Купе проводницы заперто. Он оставляет стакан у титана.

В тамбуре холодно и гулко. Поезд трясётся, как позвоночник гигантского ящера. Под дверь со свистом пробивается влажный ветер. В окне мельтешат чёрные шапки деревьев. Пахнет сыростью и дешёвым куревом. Никаноров облакачивается на дверь и, закрыв глаза, выдыхает. В сущности,

всё не так плохо... Сегодня был суматошный, но плодотворный день... Он наконец-то выступил с докладом по Лескову! Три года ночного сидения над монографиями, стучания по старой клавиатуре с неработающим «шифтом» – двумя пальцами, близоруко щурясь. И вот теперь – конференция. Ректор Тверского университета пожал ему руку, а профессор Соболев (бог, светило ОГУ имени Тургенева, тридцать лет лескововедению отдал!), сам Соболев так сердечно благодарил его за «Морфологию “На ножках”» – стиснул в своих медвежьих объятьях, похлопал по спине, а потом долго тряс руку, наклонившись, чтобы он, низкорослый, не чувствовал себя неловко, и басил: «Григорий Аркадьич! Вы наше зо-ло-то!!» Никаноров улыбается, гармошка на лбу распрямляется... Ах да, Соболев же позвал его в соавторы! Кажется, статьи для «Вопросов литературы»... Или даже монографии... Пригласил, протянул бумажку с электронным адресом и так многозначительно подмигнул!... На лбу выступает испарина. Бумажка с адресом! Где она? Он разворачивает целлофановый свёрток: паспорт в замасленной обложке, чёрный зонт, пакетик с монетами, полупустая пачка «Кэмела», спички. Ничего! Всё потеряно... Придётся звонить ректору, или декану, или Белянскому, или секретарю, и долго объяснять, заикаться, извиняться, расчёсывать ладони... Никаноров морщится – теперь он похож и на свою вечно недовольную покойницу маму, и на орущего младенца, и на мунковского «Крика». Он, дрожа, выворачивает карма-

ны брюк – смятая бумажка падает на заплёванный пол, он бросается на неё и разглаживает: серый тетрадный клочок, «Соболев И.Л. sobolevigor46@yandex.ru» – почерк круглый, увесистый, как сам Соболев, цифра «4» похожа на «7» – он секунду колеблется, но, догадавшись, что число – это год рождения профессора, успокаивается. Драгоценный обрывок возвращается в левый карман – целый, без дырок. Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Никаноров чиркает спичкой и затягивается «Кэмелом»: пачка влажная, и капельки воды на целлофановой плёнке превращают рыжего самодовольного верблюда в мираж. Горько-ореховые пары пропитывают лёгкие, Никаноров улыбается своим мыслям и расслабляется. Горло всё ещё саднит, и сигарета не так вкусна, как бывает, ветер неприятный, но освежает, бодрит. И главное – тишина, без людей, супов, гитар – только стук колёс, летящая тьма в окне и мысли, мысли...

Он аккуратно кладёт тетрадный клочок в книгу, раскрыв её на двести двенадцатой странице: «2», «12», второе декабря, день его рождения, он не забудет. В теле – от курения и воздуха – спокойствие. Надо дочитать «Крейцерову сонату»... Уже полночь. Гул в отсеке не смолкает. Свинка-мама куда-то пропала, и сыновья расслабились. Андрей, уже в одних плавках, бренчит «Алюминиевые огурцы», периодически отправляя в рот пригоршню чипсов и вытирая масляную руку о простыню. Младший пытается подпевать, но, не



зная слов, просто кивает, лыбится и грызёт ногти. Пузатый мужчина слез с верхней полки, развалился у окна, на месте субтильной леди, едва заснувшей с утихнувшим младенцем, и глушит пиво из полторашки. На столике – на листе вчерашней «Комсомолки» – две воблы. Толстяк свистит Никанорову и, стуча по бутылке, подмигивает. Тот вежливо отказывается, и толстяк теряет к нему интерес. Двенадцать ноль три. В пять тридцать две поезд прибывает в Петербург, около шести Никаноров будет у себя на Первой Советской, а в восемь нужно выйти, чтобы успеть к девяти на первый урок. Полчаса на бритьё, чистку зубов и завтрак. И полтора часа – священный запас, время погладить кошку, полистать Пруста, фотоальбом – или поспать... Полтора часа сна без тряски и шума... А сейчас – читать! «В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания...» Никаноров пытается сосредоточиться, но в нос лезет вонь химического бекона, пацаны в голос обсуждают девочек, и горло, чёртово горло, как же болит... «– Какая же это любовь... любовь... любовь... освящает брак? – сказал он, запинаясь»... – У неё такие буфера, ты видел? Как у Памелы Андерсон... – Угу... «– Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?»... – Ей, короче, семнадцать. Вот она типа на меня запала... – Вау, ништяк!... «– Да ведь это только в романах, а в жизни никогда»... – А я, если честно, ещё никого... – Санёк, ты чё?! Не

тормози, давай вперед...

– Молодые люди, нельзя ли чуть потише? – Никаноров с удивлением слышит свой надтреснутый голос и опускает глаза. «– Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, – в один голос заговорили... – Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, – в один го... —Ах, что вы! Да нет. Нет, позво...» Он понуждает себя читать, но спотыкается, как хромая кляча.

Щёки стали горячими, периферическое зрение показало Андрея: чёрный, чумазый, тот приподнял бровь и бросил оценивающий взгляд на источник звука. И конечно, щуплому взрослому, сжавшемуся над книгой, скупое пубертатное сознание моментально присвоило категорию «лох». А Санёк замер, ожидая реакции брата.

– Короче, с Людкой тебя познакомлю, – говорит Андрей тише – страх перед взрослыми, привитый во младенчестве, даёт о себе знать.

– Чё, реально, познакомишь? – улавливает интонацию брата Санёк и отвечает ещё тише.

– А-га, – голос Андрея уже громче, и он нарочно тянет гласные, краем глаза поглядывая на «лоха»: отреагирует тот как-то? «Лох» не шевелится: кажется, его засосало в книгу. Мамки нет, а алкашу напротив по барабану, что творится во-круг. Андрей окончательно бодрится и продолжает болтовню в полный голос, позволяя себе – для пущего смака – и гоготание, и крикливые междометия, и неловкий, беспомощный мат. Санёк довольно поддакивает. Никаноров бледнеет,

на лице и шею пляшут пунцовые пятна, он молчит и в двадцатый раз перечитывает один и тот же абзац.

Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Свет слишком резкий, ужасно болят глаза... Выключили бы хоть одну лампу... Проводница спит, будить её неудобно, а может?... Нет. Ещё чаю? Да, ещё чаю, станет легче, теплее... Разобрать постель – вот она, лежит на верхней полке, это ведь она? – и постараться уснуть, читать не выходит... Завтра, всё завтра... А сейчас – чаю... Никаноров улыбается букве «ч» в слове «приказчик» из третьей строчки абзаца. Стоп! Чай нужно купить у проводницы... А она спит... Никанорову кажется, что он маленький-маленький, забрался в папин ящик из-под инструментов, с соседской кошкой, Пушинкой, совсем крохой, и так им уютно вместе, весело, и вдруг удар, треск, крышка захлопывается, и они не могут выбраться, Пушинка вжалась в Гришину ладонь, мокрая, дрожит, а Гриша – другой рукой, макушкой, плечом – пытается скинуть колючую, воняющую краской фанеру, ладонь горит, он чувствует, что разодрал костяшки, воздуха мало, тесно, тесно, очень тесно – резкая боль, Гриша визжит, и крышка слетает. Вовка, пухлый мальчишка с белёсыми ресницами, испуганно смотрит на друга – потного, орущего, заплаканного, ладонь продырявлена в центре и залита кровью... Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Никаноров сглатывает и чешет руку... Можно купить чай в соседнем вагоне! Глаза блеснули: он так обрадовался, что чуть не рассмеялся. Конечно! В со-

седнем вагоне! Вот же бестолковый... Сейчас он дочитает эту страницу, закроет книгу и пойдёт за чаем. А по пути, в тамбуре, можно снова перекурить. Там тихо и воздух...

Кажется, свет стал тусклее... А может, они въехали в тоннель... «Духовное родство! Единство идеалов! – повторил он, издавая свой звук»... Никаноров мысленно распиливает четыре первых слова надвое: нож прошёлся аккуратно между «о» и «в», и те отшатнулись друг от друга, в букву «с» попал гарпун и пригвоздил её к строчке, «единство» распалось на корень и суффикс, «а» поймала ртом стрелу и превратилась в царевну-лягушку. «Духо-вное, род-с-тво, един-ство, иде-а-лов»... Никаноров не в силах оторваться, вертит слова на кончике языка, слышит музыку: «духо-вное», «един-ство» – идеальное сочетание, гармония, лощёный амфибрахий... Он уже не замечает боли в горле, запаха чипсов, гогота подростков – мир уютен и безопасен.

Что это? Никаноров ёжится. Кажется? Нет, не кажется. Струйка воздуха змейкой залезла под свитер и кусает бока. Он же закрыл дверь? Закрыл. Может, она распахнулась? Он массирует виски и искоса осматривается. Андрей забрался наверх и завернулся в простыню. Санёк по-прежнему что-то жуёт, хлопая носом. Они обмениваются усталыми репликами. Толстяк подпёр рукой голову и ушёл в себя. Мама с младенцем спят тихо, как мёртвые. Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Никаноров прислушивается. В соседнем отсеке оживление. Смех, шуршание целлофана, хрюканье. На-

верное, решили потрапезничать на ночь глядя... На часах ноль пятьдесят один, скоро час. А он так и не осилил «Крейцерову сонату». И значит, будет читать её утром, в те драгоценные полтора часа свободы, когда можно бы спокойно поспать... Будет сидеть с больным горлом, пить бесконечный чай и заедать его Толстым – глотать без аппетита, по рецепту. А потом с красными глазами и кучей носовых платков поедет в школу. Умная Лизочка за первой партой, она точно готова к беседе, Игорь, Паша и Артём – им иногда интересны его излияния – и два десятка спящих... Кристина опоздает на двадцать минут, вальяжно хлопнет дверью, и он потеряет нить рассказа, а вспоминая, начнёт заикаться – под кривые улыбки и пустые глаза. Кристина добредёт до последней парты, швырнёт рюкзак на стул и рухнет рядом – как подстреленная туша; волосатая голова упадёт на изрезанные руки, и в этой позе – то ли презирая человечество, то ли просто во сне – она просидит до конца урока. А Никанорову рухнуть нельзя, и спрятаться негде... Он будет верещать о Позднышеве, о любви, о грехе, поминутно силясь не чихнуть и стыдливо промокая нос платком. Горло будет болеть всё больше, он закашляется, осипнет, к тридцать пятой минуте гул в аудитории превратится в гвалт, Никаноров станет размахивать руками, чтобы хоть как-то сфокусировать их на себе – хотя бы её, Лизочку, заорёт, издаст резкую высокую ноту – и потеряет голос. Протарахтит звонок – и гнойник прорвётся, они брызнут наружу, он запоздало нацарапает стра-

ницы на доске и стукнет кулаком по столу, но звук растворится в шуме коридора, Лизочка виновато улыбнётся и запишет задание в дневник, Паша забудет сменку, вернётся и сухо извинится, Кристина медленно поднимет голову и будет долго смотреть в никуда, пока он, Никаноров, сморкается... Потом тряское метро, обшарпанный дипломат с их тетрадами, карманы, вздутые от грязных платков, красный нос, на котором уже натёрта короста... (Он усиленно моргает и чешет ладонь) И сон? Счастливый субботний сон без страхов и забот. В его тёмной комнатухе без телефона и компьютера, с чёрными шторами и редкими тараканами...

Никаноров встаёт и решительно направляется к тамбуру.

– Мужчина, дверь в тамбур не закрывайте! – раздаётся приказ из соседнего отсека, и Никаноров вздрагивает. – Душно!

Это свинка. Её скрипучий рубящий голос он уже выучил: она тянет «щ», словно набрасывает петлю – «мущщина».

Он порывается было кивнуть и быстро пройти мимо, но вдруг прикусывает язык:

– Простите, очень дует, – говорит он твёрдо, даже жёстко, пожалуй, излишне жёстко.

Свинка недоверчиво вскидывает бровь и оглядывает незнакомца внимательнее. В её скукожившихся зрачках – смесь бешенства и уважения. Щёки Никанорова пунцовеют.

– На м-моём месте очень д-дует, – сбивчиво добавляет он, пытаясь сгладить неловкость, и глупо улыбается. Заикание

предательски просачивается. Это фиаско.

– Ну а мы щас от жары сдохнем, – безапелляционно, со вкусом.

Никаноров мнётся, хватается за ладонь.

– Но... Д-давайте... найдём общее решение, – он силится вернуть голосу бодрость, но тот дрожит, как Пушинка в его руке в тот чёрный день, когда гвоздём ему пропорол кисть и он впервые обмочился со страху.

– Мужчина, – опять это едкое «щ-щ-щ» – ногтём по пенопласту, – мы нашли решение. Нам душно – мы открыли дверь. Нас тут шестеро, вы – один.

Он растерянно озирается. Наверху спят – или притворяются. Пожилой пассажир с острой бородкой закапывается в «Известиях». Двое шахматистов на боковушке равнодушно двигают фигуры, потягивая дешёвый коньяк. Молчание – знак согласия.

На скулах Никанорова выпячиваются желваки. Кровь в висках бешено бьётся.

– Хорошо, извините, – цедит он, кивает и быстро проходит вперёд, задевая по пути чью-то корзину. Свинка провожает его недоверчивым взглядом.

Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Какого чёрта?! Почему он должен страдать?! Ему холодно, холодно!!... Почему никому до этого нет дела?! Никаноров ударяется о чужие ноги, лязгает зубами, протискивается сквозь чемоданы и авоськи с овощами, вокруг смех, храп, посвисты, кто-то

окрикивает: «Эй, поаккуратней!» – нет, он не может «поаккуратней», он не будет «поаккуратней», ему холодно, и он не оборачивается. Плевать! Да, плевать. Никаноров хищно улыбается, наслаждаясь собственной злобой – такой редкой, такой сладкой. Теперь он не заикается, теперь ему не страшно! Никакого сострадания, эмпатии и прочей белиберды... Око за око, зуб за зуб!! Ему холодно, и он сейчас закроет эту чёртову дверь! Хлопнет ею громко – на весь вагон! А потом скажет этой свинье, что она свинья!!! Он хохочет и пинает чью-то сумку в проходе. Если кто-то сейчас перегородит ему дорогу – он вцепится в горло! Они заслужили!!...

Тамбур. Дверь закрыта. Закрыта? Никаноров ощупывает её – и не верит глазам: закрыта. Проводит пальцем по щели – и не чувствует воздуха. Дверь закрыта. Надо же... Озадаченно чешет в затылке. Сладкая злоба разбилась о холодную сталь. Ему досадно, неловко. Он думает открыть сейчас эту дверь, чтобы вновь закрыть. Захлопнуть. Со всей силы. Со всей дури. Но куда всё делось? Он обмяк, плечи опустились, он вновь ощутил першение в горле. Слишком стучит в висках. Наверное, температура. Он сглатывает. Горько, мерзко. Ему снова отчаянно хочется горячего. И спать.

– Мужчина, дверь за собой закрывайте, – усталый девический голос позади: это не свинка.

Он оборачивается: проводница с отсутствующим взглядом перебирает бельё.

– Это не я, – по-детски отзывается Никаноров, и провод-



ница поднимает бровь:

– Что «не я»?

– Я не 3-закрывал дверь, – он отвечает быстро и, конечно, заикается. – Т-то есть не открывал...

Проводница на него не смотрит:

– Дверь в тамбур должна быть всегда закрыта.

– Конечно! Спасибо! – Никаноров кивает и чуть кланяется. Девушка настороженно глядит исподлобья:

– Мужчина, вам чего? – в руках ворох белья, под глазами мешки, за окном мрак, у неё третья смена. – Чаю? Сигарет? Расчёску?

– Чаю! – Эта девушка, закопавшаяся в белых тряпках, должно быть, ангел-хранитель. Нужно успеть попросить у него счастья, пока он не исчез. – Чаю, пожалуйста! Я... Я принесу деньги... У меня п-пакет... Я оставил...

– Перед прибытием завтра расплатитесь, – она дёргаными движениями откладывает бельё, вытаскивает пакетик из коробки, кидает его в стакан и поворачивает ручку титана. Кипяток вздымается белым паром, и Никанорову кажется, что курится Фудзияма.

– Спасибо! Спасибо Вам огромное! – он снова ослабилась и чуть не прослезился.

– Семь рублей утром занесёте. Вы до конца у меня?

– Да, спасибо! – тепло подстаканника греет ладони. – Я до Санкт-Петербурга.

– До конца, – подытоживает проводница и нетерпеливо

подхватывает кучу белья. – Через четыре часа прибываем. – Никаноров, жуя губы, всё не уходит. – Что-то ещё?

– Э-э... П-простите... – девушка равнодушно склоняется над простынями и бегло перебирает их пальцами – пересчитывает. – У н-нас там шумно... Я... М-мне на работу завтра... Можно выключить свет? – наконец формулирует он и выдыхает. – Пожалуйста!

– Через пять минут выключаем, – отзывается проводница, не поднимая головы.

Всё хорошо. Вот теперь всё по-настоящему хорошо. Тук-тук, так-так... Дзынь-дзынь – звенит ложечка в чае: Никаноров совсем расхрабрился и, уходя на место, спросил у проводницы сахара. Хорошо! Горло обволакивает горячая жидкость и смывает боль. Внутри тепло и спокойно. Никаноров откидывается на спинку и закрывает глаза, вытягивает ноги и шевелит пальцами. На них наброшено одеяло – а значит, никто этого не видит. Тем более, в полной тьме. Блаженство. Никаноров причмокивает. Когда он, с дурной улыбкой и чаем, вернулся, свинка оцетинилась и покатилась в сторону тамбура, но возвратилась быстро – прибитая и затравленная. Губы-червяки сдулись в пупочек, глазки скукожились. Никаноров слышал, как, яростно что-то листая («Орифлейм»?), она вполголоса жаловалась на судьбу, уже безобидно, беззубо: «У меня, блядь, с собой валидола нет... Если мне, нахуй, плохо станет... Я вас тут всех, блядь...» – а потом, нырнув в

соседний отсек, рывкнула: «Андрей, Саша, быстро спать!» – и удалилась.

Толстяк, насосавшись пива, храпит наверху. Субтильная леди снова баюкает ребёнка: худенькая, беленькая, «Офелия с безумными глазами»; редкие фонари высвечивают её измученную фигурку. Андрея не слышно, Санёк ворочается, шмыгая носом. Шахматисты, игравшие до отбоя, гремят доской и наскоро раскладывают постели. Свет на секунду врывается в вагон, и Никаноров глядит на часы: стрелки симметрично образуют улыбку – без десяти минут два. Он отпивает ещё чая; тот уже сладкий, как сироп: сахар на дне не размешан. В воздухе висят тяжёлые запахи вермишели, чипсов и пива – Никаноров слышит их даже через заложенный нос. Хочется курить.

Он выливает в рот последние капли, нащупывает в темноте пакет и, позванивая ложечкой, пробирается к тамбуру. В проходе тесно, очень тесно. При свете было свободнее. Вот торчит лыжная палка (в мае?), во тьме она похожа на саблю, вот колесо велосипеда, гора коробок, сундучки, саквояжки, мешки, чемоданы, авоськи, ноги, локти, одеяла, приоткрытые рты, шевелящиеся ноздри. Тесно. Никаноров двигается в кишке гигантского удава, а тот распластался где-то под гниющей листвой, не в силах переварить сожранное. Тук-тук, так-так, тук-тук, так-так. Поезд качает, Никаноров спотыкается, теряет равновесие. Левая рука хватается за чью-то полку, правая беспомощно балансирует в воздухе, стакан

кренится, ложечка выскальзывает и глухо падает на постель. Никаноров замирает и вглядывается в силуэт под простынёй: белые очертания чуть вздымаются и вибрируют в ритме состава, чёрные волосы рассыпались по подушке – лица нет. На спутанной пряди что-то поблёскивает – ложечка. Никаноров осторожно протягивает руку – два волоса обвили ложку и не пускают. Он ошупью сдирает их – жёстких, как леска, – и бросает. Один исчезает во тьме, второй падает на подушку. Никаноров смахивает его, ладонью чувствуя мокрую от слюны ткань.

Дзынь! – звякает ложечка на прощанье, когда Никаноров ставит стакан у титана – тот в ночи пухлый и зловещий, как Мойдодыр из преисподней. Дверь тамбура вдруг распахивается – Никаноров вздрагивает и пятится: в проёме – силуэт необезглавленной Банши: кажется, сейчас она поднимет руку, в которой что-то блестит, и полоснёт себя по шее. Рука поднимается, и огонёк следует за ней – это сигарета. Ещё одна нервная затяжка – и свинка гордо шествует мимо, смерив Никанорова замысленным взглядом и швырнув хабарик во тьму.

Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Никаноров курит и тихо посмеивается. Какой удивительный, волшебный день! В мыслях пляшут профессор Соболев, многозначительно подмигивающий ему и протягивающий листок с адресом, свинка, огорошенная и несчастная, Позднышев, дымящий папиросой или, откашливаясь, хлебающий чифирь из поче-

му-то такого же, как у него, стакана, Горданов, маниакально пересчитывающий ассигнации, Лизочка, которая, конечно, будет кротко улыбаться ему завтра, а когда он станет рассуждать о любви – мечтательно поглядывать в окно, на верхушки столетних клёнов. Он тоже так делал в школе... Поезд скачет, извивается, кажется, сейчас слетит с рельсов и разобьётся вдребезги. Никанорова шатает, огонёк на сигарете прыгает, рассыпая вокруг мириады пепелинок. Верблюд на замусоленной пачке любопытно вытянул шею, будто принохиваясь к куреву.

Путь назад... Лианы ног и рук, валуны чемоданов, узкая подвижная тропка трясётся, как подвесной мост... Никаноров – Индиана Джонс, хладнокровный и вездесущий, чертовски обаятельный... Он бьёт по койке со свистящей бабкой воображаемым хлыстом – и целлофановый пакет в его руке громко хрустит. Бабка не реагирует, Никаноров ликует.

Своё место он узнаёт по надутому шару слева – животу соседа, и храпу – гортанному, рычащему, как крик выпи. Голосов вокруг не слышно. Офелия нянчит сопящее дитя – пепельно-белая на чёрной полке. Её постель убрана: наверное, они скоро выходят. Наверху чуть дребезжат гитарные струны. Никаноров стягивает свитер, прячет очки в пакет, ложится и отворачивается. Нос касается холодного пластика – линкруст ощущался по-другому, теплее, рельефнее, но всё же...

Глаза закрыты. Стук в висках Никанорова сливается со

стуком состава и утихает... Горло? Да, всё ещё больно... Но чёрт с ним... Тук-тук, так-так... Тук-тук, так-так... Аааа-а, аааа-а, в горку – с горки, в горку – с горки. Медленно, кряхтя – и кубарем, с ветерком, аааа-а, аааа-а, медленно, нараспев – и кратко, контрапунктом. Аааа-а, аааа-а, откуда-то из нутра Офелии, Ильинской, сирены, аааа-а, аааа-а, звуки иного мира. Мама прижимает его к себе – морщинистого, в пелёнке – и мурлычет песенку, на подбородке танцует бородавка, бигуди пахнут ромашкой, кожа – молоком. Кругом улыбки, улыбки... Солнце такое горячее, во рту песок – скрипит, шуршит, чавкает, Гриша плюётся и засыпает... Кто-то сквозь сон набрасывает ему панамку и уносит под иву: рука под живот, мягко, приятно... Сверху падает прохлада, муравьи лезут в штаны, пупок забит песком... Пузо тяжёлое, упругое, как воздушный шарик. «Ай, лады, лады, лады, не боимся мы воды...» Бултых! Холод режет живот, полосует насквозь. А-а-а-а! Надрывно. Во всю глотку. Бултых! Больно! Тельце съёживается, как мышка перед удавом. Ручки молят о пощаде. Бултых! Предали! Несправедливо! А-а-а-а-а! Никанорова прошибает судорога, и он просыпается. Тук-тук, так-так, тук-тук, так-так... Аааа-а, аааа-а... Субтильная леди баюкает младенца. Позванивают струны. Сколько времени прошло? Минут пятнадцать?.. Надо спать, спать... Он зарывается в одеяло – уютно, безопасно... Переворачивается на живот... Тук-тук, так-так... Лежать как будто неудобно... Кажется? Никаноров перевёртывается на бок – правый, ле-

вый... Нет, не кажется. Тяжесть внизу... Мочевой пузырь переполнен. Заснуть, заснуть во что бы то ни стало и проспаться до приезда. Снова на живот... Тяжело... Головой в подушку... «Ай, лады, лады, лады...» Мама-сова с бородавкой... Вода, ледяная, как нож... Пушинка в ящике, орущая роженницей... Царапает, царапает, царапает, стучит носом, толкается, трётся попкой, хрясь – ящик рассыпается... Вода до горизонта... Тук-тук, так-так... Поезд рассекает волны... Вагон отцепляется и несётся на дно... Дышать нечем, перед глазами мелькают полосы, всё дрожит, рябит, как помехи в телевизоре... Больно, тяжело, вот-вот случится эпилептический припадок... Никаноров просыпается. Живот натянут, как барабан. Сейчас лопнет... Тьму прорезают седые блики – фонари? рассвет?... На верхней полке скачет одеяло, струны звенят в ускоренном ритме, подбородок Андрея вибрирует в такт, кадык напряжён и очерчен тенью. Тело выгибается, вздрагивает, скулит, и белые глаза – почти без зрачков – на выдохе закрываются. Никаноров морщится и чешет ладонь. Андрей, румяный и потный, засыпает сном младенца. Никаноров осовело глядит на него и идёт облегчиться в уборную.

Прошёл час... Или больше... Жёлтый полумрак точит вагон изнутри... Никаноров, опустошённый, безумный, тарашится в потолок, вращая в уме одну – уже нормальную, привычную – мысль: убить. Убить их обоих. Мерзких, как гнус. Серых, как тля. Пошлых, потных, шумных. Шумных. Его

третий сон про молодую маму и огненный песок прервал хохоток «Санёк, б-з-з-з, Санё-о-ок!». Хлопнула пачка чипсов. Никаноров дёрнулся – и снова запрыгнул в растоптанные ботинки, не расшнуровывая, – но, вместо того чтобы опять броситься курить, он, щуплый, в майке на голое тело, слепой, как крот, сутулясь от стыда, вдруг метнулся к подростку, сжал кулак и... процедил? прошипел? – так думал сам Никаноров – проорал, взвизгнул, всплакнул о нарушении спокойствия граждан и режима, кулак меж тем разжался и рухнул виноградной кистью на полку. Андрей глянул, как на умалишённого, икнул «извините» – больше от шока, чем от страха, – и отвернулся: «не трожь – не воняет».

Убить их обоих. Заткнуть рот полотенцами. Выколоть глаза. Дзынь-дзынь, чай, волосы, титан... Вычерпать глаза ложечкой! Никаноров чешет руку и посмеивается. И это не грех! Это справедливое возмездие... Справедливость! Её так мало! Справедливость! Преступить во благо! И пусть смотрят все, все хамы, свиньи, пьяницы, подонки, неучи, предатели, подростки! Пусть смотрят и трепещут, чтоб им неповадно было!... Нож входит в натянутое горло Андрея, пропарывает нежную кожу, упирается в дрожащий кадык, кровь заливает гриф... Санёк дрожит, как котёнок!... Никаноров скрипит зубами, перед глазами жёлтая пелена, по скулам катятся слёзы, бледные лучи освещают пластик, потолок давит, давит, давит...

– Санёк, давай в фишки?... – шуршание, скидывание оде-



яла, скрип, лязг гитары.

– У меня мало, Андрюха, я не хочу, – шмыганье носом, всхлипывание, шорох.

– У меня тоже мало, Санёк! Отыграешься! – прыжок, смех, хлопок.

– Ну, блин, только не с «Черепашками»! У меня одна такая! – обида, мольба, протест.

– Давай сюда! – победа, злорадство, власть.

– Так нечестно!

– Всё честно! Ты правил не знаешь...

Вычерпать глаза ложечкой! И прикрыть их фишками, как в Древней Греции... Никаноров кусает губы и сглатывает: больно! горько! Сколько он спал? Пару часов? Меньше? Солнце золотит простыню... Вагон пропитан храпом – многозвучным, разноголосым... Никаноров не моргает. Какое сладкое зло!... Майка, мокрая от крови, мальчишка бледнеет и падает в проход... Свинка визжит, проводница, рыдая, бежит к начальнику поезда... Младший – на коленях, лепечет извинения... А он, Никаноров, стоит молча, уже спокойный, хладнокровный, в красивом чёрном плаще, ни пятнышка, отряхивает пыль с рукава, победно улыбается... Нет, не так... Они не будут визжать и плакать, нет! Они замрут, весь мир вдруг застынет! Свинка выронит свой «Орифлейм», толстяк втянет живот, Офелия задушит младенца, рассыплются шахматы, разлетятся газеты, хлопнут пакеты чипсов. Немая сцена, эффект лопнувшей струны, остановись, мгно-

венье, ты прекрасно! Бледный старший – ничком в проходе, бледный младший – на коленях в углу... И Никаноров – полуулыбка, руки на груди, великий, прекрасный!... А потом выпрыгнуть из состава, лечь под тёплой сосной и – спать, спать! Никакой работы, мыслей, людей, першения в горле, заикания, носовых платков... Только мягкая земля, запах сухой хвои, птички – тинь! тинь! – и небо с просинью, высокое небо! Позднышев с Гордановым потягивают чифирь за ломберным столиком, верблюды выпускают колечки дыма, Лизочка нянчит Пушинку, Соболев танцует с Офелией, мама-сова купает Иа-Иа... И мальчики кровавые в глазах... Лев Толстой очень любил детей...

– Да блин, дай сюда! – рявкает Пруст, отбирая у пухлого Вовки пирожное. Гриша в ужасе хлопает глазами и просыпается. – Дай сюда! – Андрей толкает брата и вертит в пальцах золотую фишку. Луч отскакивает от неё и бьёт Никанорову в лицо. Тот моргает и резко садится. Холод обдаёт голые лопатки, он спешно натягивает свитер – ещё влажный, колючий. Голова застревает в рукаве. Резинка ударяет по щеке. Никаноров приглаживает взлохмаченные волосы, облизывает губы, нащупывает рукой пакет. Очки снова на носу. Невнятные пятна мира обретают контуры. Салатовое поле за окном вспарывает молния – Никаноров переводит взгляд на резиновую обшивку: да, это трещина. Левое стекло очков разбито.

– Ну ты монстр, Санёк! – ржач, хлопки, хрюканье.

Никаноров смотрит на них, трещина отрезает Андрею голову. Это они! Да, они. Они пробрались к нему ночью и раздавили его очки.

«Мечь – чувство благородное», – полагал Пушкин. Мечь! Это значит воздать по заслугам, восстановить справедливость, вправить «сустав века». Могу ли я, маленький человек, решиться на мщение? Имею ли право на это? В сущности, передо мной люди, обычные люди. Со своими страстями и пороками. Но разве не должны пороки наказываться? Не в этом ли состоит великая гармония бытия? Должна ли грубая сила склониться под пятой справедливости?...» Никаноров, высунув кончик языка, настороженно смотрит в стекло: два жирных пятна, четыре точки, мушка – или мошка?.. С грифеля химического карандаша капает слюна. На замусоленном тетрадном листке – витиеватые неровные строчки. По-французски. «Под пятой справедливости...» – Никаноров морщится и расчёсывает ладонь. «Какая пошлость...» Гармошка на лбу играет траурный марш. «Как плохо...» Листок мнётся и стыдливо летит в пакет.

Свет заливает вагон. Мысли выпрямляются и строятся в шеренгу. Никаноров растирает руки. Похолодало?.. Нужно просто подойти к ним и спокойно – спокойно! – объяснить, что так нельзя. Нельзя шуметь в ночное время. Нельзя мешать спать. Нельзя рвать книги. Нельзя брать чужие вещи без спроса. Нельзя портить... Нельзя ломать книги, рвать оч-

ки... Нельзя мешать спать... Очень холодно. Руки Никанорова дрожат. Внутри горечь, горечь...

«Если АВ – биссектриса, то угол «альфа» равен углу «бета»...» – Зинаида Станиславовна чертит линию, мел скрипит, облезлый транспортир стучит о доску. Гриша склонился над тетрадью, левая ноздря заложена, очень хочется высморкаться, он дышит ртом, сдерживая тошнотные приступы от слизи в горле. Потрескивает лампочка, шелестят страницы, нервно причмокивает потная Маша слева. «Докажем, что АВ и ЕF равны...» – очки учительницы сползают на нос, груди дрожат, как студень, в «пещерке» между ними – родинка, или тень, или маленький паучок... Чирк-чирик, чирк-чирик, В упала навзничь, А перевернулась с ног на голову, подпрыгнула и вошла в беспомощную В, вверх-вниз, вверх-вниз... Гриша вскакивает на парту, расстёгивает ремень, сдёргивает штаны на бёдра и танцует твист, белые и красные лица одноклассников обращены на него, рот учительницы округляется и вытягивается, будто она проглотила цилиндр. Плавки лопаются, Маша причмокивает, Гриша истерически хохочет и, раскидывая всех указкой, улетает в космос... Чирк-чирик, чирк-чирик... Гриша выводит медиану, карандаш затупляется, стрелка наручных часов дрожит и застывает на 10:35, через пять минут кончится урок. В окно стучит ветка клёна...

А что, если двинуть ему кулаком в челюсть?

Санёк и Андрюха развалились на нижней полке, долговязые, пластилиновые. Режутся в подкидного. Андрюха комментирует, Санёк подхрюкивает.

Что, если двинуть ему кулаком в челюсть? Воспитать, как животное, как уголовника?... Наедине, в туалете, чтоб не доказать. Чтобы понял, чтоб не возмутился.

Андрюха скидывает туза, бьёт в ладоши и визжит пороёнком.

Никаноров резко встаёт и босой идёт к тамбуру. Дверь снова открыта. Сквозняк. Никаноров заходит внутрь и в растерянности замирает. Тук-тук, так-так, тук-тук, так-так... Зачем он здесь? Курить. Он озирается, долго смотрит на пустые ладони: не взял пакет. Возвращаться? Нет, глупо.

Пол ледяной. Ноготь на большом пальце правой ноги совсем скрутился. Слева растёт уродливая шишка. Никаноров закрывает глаза: «Один... Два... Три... Четыре...» Он отсчитает триста секунд и вернётся за сигаретами и ботинками.

Он вернулся. Ботинки. Сигареты... Рука задевает книгу и, помедлив, вытаскивает из пакета и её. «2», «12», второе декабря, день его рождения, он не забудет.

На двести двенадцатой странице пусто. Как пусто и на двести двадцать первой, на сто двенадцатой, на сто двадцать первой, на сто двадцать второй... Двойки и единицы улюлюкают, как в Гришиной тетрадке по алгебре в 62-ом году.

Кажется, сейчас вон та двойка повернётся в анфас, расправит складки юбки и заговорит медовым голоском Зинаиды Станиславовны, насмешливым и снисходительным. А потом возьмёт единицу-указку и треснет по затылку.

Нет. Бумажки нет. Адреса нет. Нет.

Внутри ёкнуло.

Тук-тук, так-так, тук-тук, так-так. Дзынь – дрогнула гитарная струна.

– Пошли поссым, – Андрюха пихает брата в бок и соскакивает с полки.

Сейчас – или никогда.

Мимо прошлёпали сандалии, хлопнула дверь.

Сейчас.

Никаноров срывается с места и, в один прыжок преодолев проход, дёргает дверь. Ручка слетает, дверь ударяет о стену, Санёк пятится и задевает рукомоёйник, глаза круглые, белые. Андрюха вздрагивает, и жёлтая струя окатывает стульчак, пол и Санька. Никаноров поднимает руку – глазки напротив птичьи, кукольные – и резко бьёт в подбородок. Сухие детские губы пропитываются бордовым.

Никаноров дёргает ручку двери. Замок дребезжит, но не даёт. «Занято!» – голос изнутри, деловито и равнодушно. Никаноров опускает руки и на автомате бормочет «извините».

– Саша, Саша, ты где? – обезумевшая женщина вытаски-

вает из-под полки тюки и заглядывает в ящик. – Где ты, Сания-а-а? – всхлипы переходят в рыдания, спина дрожит, ягодицы, обтянутые джинсами, вибрируют в такт поезду. Тук-тук, так-так, тук-тук, так-так, а-аа, а-аа.

– Мама, вылезай оттуда, его там нет, – трясущаяся ладонь Андрея ложится на плечо женщины. Та вздрагивает; задев волосами крышку и сбив кичку, резко высовывается из ящика и встаёт в полный рост.

– Ты, мразь, – она щурит глаза и сжимает губы, малиновая помада размазалась и выделила морщинки в уголках рта. Андрей, выше матери на голову, съёживается и рефлекторно сжимает кулаки. Хрясь! Сквозь ресницы мелькнула молния, правая щека отчаянно запылала, ногти оцарапали веко. – Мразь! Признавайся, где он! – Андрей закрывает лицо руками, с подбородка капая слёзы. Мать с силой хлопает его по уху и сплёвывает. Слюна стекает по костяшке его левого мизинца, в ушах гул, под ногами пустота.

– Дама, успокойтесь! – здоровяк с брюшком по-хозяйски приобнимает женщину, и та утихает. – Найдём мы вашего пацана, ну куда ему деться, в самом деле? – он кивает Андрею и легонько подталкивает того к проходу. Парень, пряча слёзы и след от пощёчины, делает несколько шагов и плюхается на свободную боковушку. – Вот товарища можем спросить, вдруг он видел?... Товарищ, проснитесь! Приехали уже! Спит...

– Пассажиры, кто последний был в тамбуре? – в вагон вле-

тает бледная проводница, под глазами мешки, дышит ртом. – Кто последний был в тамбуре? – голос дрожит и срывается на ор.

– А что, собственно, случилось? – бодро интересуется один из шахматистов, застёгивая сумку.

– Раскричались с утра пораньше... – ворчит старичок с острой бородкой.

Мужчина с брюшком делает шаг вперёд:

– Девушка, да вы не волнуйтесь...

– Мой сын, что с моим сыном?! – женщина в джинсах начинает истерически рыдать.

– Начальника поезда надо вызывать! – рявкает проводница, не видя и не слыша никого вокруг, и убегает.

– Вот, поглядите на неё, – бубнит старичок. – Устроили чёрти что с утра...

– Она и дверь к себе закрыла! – возмущается кто-то впереди. – Ну и куда бельё сдавать?

– Товарищи, что там случилось, в тамбуре? – здоровяк успокаивающе гладит женщину по спине и озирается. – Кто-то заходил?

– Я зашёл только что, – голос сзади. – Всё как всегда.

– Тамбур как тамбур!

– Так она уже закрыла, ещё бы...

– Что закрыла?

– Да дверь наружу.

– В смысле наружу?



– Внешняя дверь открыта была. Я утром вышел – чуть с поезда не свалился!

– Да вы что?!

– Вот так! Открыта была. Кто-то ночью открыл...

– Сашенька, сынок мой!... – женщина воеет и рвётся в тамбур, здоровяк не пускает её, та молотит его кулаками...

Тук-тук, так-так. Тук-тук, так-так. Туууук, таааак. Поезд тормозит, суета нарастает, белый свет бьёт сквозь синие шторы.

Никаноров спит. Ему снятся горячий песок и тёплое-тёплое море.

Спасибо за прочтение! Автор рад любой, даже негативной, обратной связи: [ninnel1@yandex.ru](mailto:ninnel1@yandex.ru)